

М. Я. Вайскопф

«Будешь помнить Гоголя!»

Неизвестная повесть о самозваном Гоголе

В начале 1841 в петербургском журнале «Пантеон русского и всех европейских театров» появилась повесть Н. Ковалевского «Гоголь в Малороссии», с подзаголовком «Уездная быль»¹. С тех пор прошло уже 170 лет, но по какой-то загадочной причине она за все это время не привлекала внимания исследователей.

В стилистическом плане этот текст ориентирован на «малороссийского» Гоголя, на его пародийно-пафосные интонации. С первых же строк задействована помпезно-комическая риторика «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Как жаль, что я не художник! Какой верной, отчетливой кистью изобразил бы я задумчивые лица двух знакомых мне путешественников»², и т.д. (с.16). Путешественников двое, и зовут их тоже вполне по-гоголевски: Федор Блюдечко и Евгений Ситечко. Это молодые и образованные чиновники, служащие в канцелярии полтавского гражданского губернатора. Едут они в Ромны, где Ситечку ожидает невеста, по которой он истосковался. Но на почтовой станции нет лошадей, и путники изнывают в многочасовом ожидании. Негодующий на задержку чернобровый Ситечко импульсивен и вспыльчив. Совсем иначе выглядит его друг Блюдечко — «юноша лет двадцати двух, стройный, бледнолицый, в стальных очках». Он предается воспоминаниям о «хорошенькой незнакомке» — юной девушке, с которой недавно танцевал на каком-то вечере. Наконец отчаявшихся путников осеняет счастливая мысль — раздобыть лошадей на ближнем хуторе. Друзья узнают, что принадлежит он местному судье — помещику по фамилии *Гнида* и его жене *Гнидихе*. Затевая мистификацию, Блюдечко возлагает надежды на

«натуру своих земляков» — и, как мы вскоре увидим, его расчеты оправдываются.

Если зачин «были» стилизован под повесть о двух Иванах, то описание хутора и хуторян нацелено на идиллические сцены «Старосветских помещиков», включая сюда гастрономическую доминанту быта, согретого добродушием и взаимной привязанностью супругов — Онуфрия Лукича и Степаниды Петровны. Тем же украинским этнографическим колоритом насыщен весь дом, включая «огромную картину, изображающую малороссийского Гетмана» с чубом, бандурой и саблей. Украинская прислуга расхаживает босиком, хозяйские сыновья с аппетитом едят вареники, «обмакивая их в густую сметану», а отец обожает малороссийские песни. Национальный консенсус нарушает только очаровательная хозяйская дочь, шестнадцатилетняя Феодосия, по-домашнему Феся, вернувшаяся домой из пансиона. Она наигрывает нечто немецкое на убогом фортепьяно, а когда отец просит ее спеть «лучше что-нибудь наше родное, малороссийское», поначалу отказывается: «-Да я совсем отвыкла петь по-малороссийски... У нас в пансионе все по-русски...» « -Вот то и скверно! — возражает Онуфрий Лукич. - Своего кровного языка забывать не должно!.. Конечно, в обществе, а паче при *москалях* надо говорить по-русски, но в своей семье...» (с. 22). Чтобы ублажить отца, Феся исполняет близкую его сердцу песню — «Виють витры...».

Внезапно пение прервано: мальчик-слуга извещает о приезде двух панычей, один из которых «сказал, что его фамилия Гоголь». Услышав описание его наружности — «*тощий, худощавый, бледнолицый, в очках*» — хозяин в смятении восклицает: «Так и есть! *Он*, как раз!». Слугу заставляют обуться и второпях, без особого успеха, обучают москальскому политесу, приказывая говорить с гостями только по-русски — «слышу» вместо «чую» и пр. Сам Гнида переодевается в парадный сюртук и велит домочадцам принарядиться. Взамен сытных украинских блюд на кухне в спешке готовят городские деликатесы — крем, вафли и безе. Словом, поднимается переполох.

— Да кто ж это к вам приехал, друг мой? — спросила испуганная Степанида Петровна, — уж не ревизор ли?

— Эге! рассказывай: ревизор! тут такой приехал, что погрознее еще твоего ревизора... Ревизор, когда есть за что, погоняет тебя в суде, при знакомых людях, да тем и кончится! А этот опишет тебя с головы до ног<...> Вот он какая птица!

— Э!! А какая ж он птица? — спросила Степанида Петровна, внимательно выслушав рассказ мужа.

— *Сатирический писатель.*

— Писатель?.. Вишь какой!.. Ну, и он человек опасный?

— Стало быть, что опасный! Вот... прошедшую зиму, когда я был в Полтаве... Предводитель затащил меня в театр... Зашли... я сел в кресло...музыка прогремела... открылся занавес... гляжу — фу ты пропасть! знакомые лица!! Думаю, что за дьявольщина: по сцене расхаживают не актеры, а наши дворяне? ну вот именно, наши Гадячане!!.. Мундиры наши, походка наша, разговоры наши, все обращение наше... один даже из тех дьяволов меня передразнивал!.. (с.23).

Высказанное тут мнение о гоголевской комедии как о слепке с действительности было расхожим уже в то время³. Специфика состояла разве что в украинских привязках, в ссылке на Полтаву и Гадяч. В данном случае Н.Ковалевский вторит Булгарину, который в своей известной рецензии из патриотических побуждений определил место ее действия как городок не русский, а «малороссийский или белорусский»⁴. Более того, судья у Ковалевского вообще охотно подчеркивает именно эту сторону дела, когда говорит жене: «А ведь подумаешь, где такой мудрости нахвтался?...Не издалека! — Земляк миргородский! — Миргородский!.. Я думала, по крайней мере, петербургский...» (с. 26).

Украинская стихия воспринималась тогда, при всем ее лирическом и этнографическом обаянии, как материал, тяготеющий к юмористике. Соответственно, у Ковалевского украинские сантименты сохраняются помещиками лишь для домашнего, частного пользования. Но и в этом случае они остаются принадлежностью старшего поколения, тогда как городская молодежь, представленная Фесей и обоими гостями, уже обрусела.

Судья, который конфузится своих малороссийских повадок, гордится тем не менее этническим родством со знаменитым земляком, прославившим отчий край. Когда Федор Блюдечко объявляет ему, что он хотел бы всего лишь

поскорее добраться до Полтавы, если хозяин снабдит его повозкой, тот горячо протестует: «— Чтобы я вас отправил в повозке? Да за кого вы меня считаете?.. Мы, Малороссияне, умеем угощать своих гостей... А особенно своего народного сочинителя, — прибавил он вполголоса — и физиономия его выражала благородную гордость». (с.24). Но сам этот «народный сочинитель», все явственней претендовавший на роль именно русского — или же всероссийского — национального писателя и, в частности, занятый тогда идеологической русификацией «Тараса Бульбы» (для издания 1842 г.), менее всего был заинтересован в этнической локализации своего дара. Иными словами, Ковалевский вместе с его малороссийским патриотом оказал тут автору «Ревизора» медвежью услугу.

Повесть оказалась банальным анахронизмом и в самой трактовке гоголевской комедии как простого, хотя и забавного фарса. Текст Ковалевского, далекий от моралистических притязаний, как бы закреплял за Гоголем ту исконную и постылую территорию «жарта»⁵, на которую выталкивали его снисходительные критики вроде Н.Полевого и Н.Греча.

В глазах Онуфрия Лукича визитер, выдавший себя за Гоголя, идеально отвечает представлению об авторе «Миргорода» и «Ревизора» как въедливом и придирчивом юмористе:

— Такой егоза, что вот так и цепляется... так и придирается к каждому слову! Что ни скажу, а он, знай, ухмыляется!.. Раза два принимался было хохотать. В особенности оконфузил меня тот чертенок! — сказал Онуфрий Лукич, который стоял, грозя пальцем своему слуге <...> — Постой! постой! я тебе намну чуприну, чтоб знал, как отвечать при гостях: **будешь помнить Гоголя!**..<...> Надобно его ублажать, а то он, — чего доброго! публикует меня невежей, или, что еще хуже, скрягой! (с. 24).

Судье вторит его испуганная супруга, наказывая Фесе приодеться по красивее: «Он такой *критикант*, всех описывает!» (с. 25). Впрочем, Блюдечко, смущенный собственной мистификацией, вскоре пытается отречься от писательского звания — но судья ему не верит. Рассказывая об этом жене, Гнида вплетает в свои впечатления цитаты из «Ревизора». Мнимый Гоголь

смешан с Хлестаковым, а сам судья — с доверчивыми жертвами его вдохновения:

— Разговорился!.. Весельчак!.. Сам хохочет, и такие преуморительные анекдоты рассказывает... Но только что он за *тонкая штука!*.. У, что за *тонкая штука!*.. Представь себе: я спросил его, не приготовляет ли он какой-нибудь статейки? А он скорчил фигуру изумления, и сказал, что он отнюдь не сочиняет, что он не наш «Гоголь-сатирик», а так, однофамилец... <...>

— А может и впрямь однофамилец? Вот славно, когда наделали такого шуму из пустяков!

— Ни-ни! меня не надуешь! Я с двух слов узнал, что он Гоголь... с одной улыбки: улыбается, ведь как иначе! Представь себе человека, которому сильно хочется смеяться, но он, из политичности, удерживает свой смех: вот его улыбка! Я ту же минуту приметил, что в улыбке его есть уже что-то этакое... такое... одно слово — *гоголевицина!*.. Однофамилец?.. Понимаю я, очень понимаю, для чего ему хотелось быть у нас инкогнито! <...> А там, глядь, он перекрестил бы меня из Гниды в какую-нибудь Землянику и предал бы *тиснению* весь рассказ мой от словечка до словечка» (с.26).

По ходу дальнейшего действия Блюдечко узнает в Фесе ту самую девушку, с которой недавно он танцевал и которая пленила его воображение. Покидая вместе с другом усадьбу на хозяйской коляске, он прощается с героиней лишь на краткое время, ибо собирается вскоре вернуться. И застенчиво прибавляет: « - Только извините меня пред вашим папенькой... Я не Гоголь, я Федор Блюдечко...» (с. 27). С извинениями обращается он на прощание и к самому судье, но тот в ответ его урезонивает :

—Ах, перестаньте! перестаньте! я же вам говорю, что я должен благодарить вас за честь, которую вы оказали вашим посещением... Я расскажу всему Гадяцкому уезду, какого гостя я принимал в моем доме... Только уж, сделайте одолжение — прибавил Онуфрий Лукич, — если задумаете что-нибудь новенькое... Этак вроде *Ревизора* ... не помяните меня лихом, а если бы можно доброе словечко обо мне замолвить — замолвите: буду вам крайне благодарен.

— Вы меня все-таки принимаете за литератора!.. Право, мне совестно; как честный человек, уверяю вас, что я от рождения моего никогда ничего не печатал... Скажу более,— я не Гоголь...

—Нет уж, сбросьте с себя ваше инкогнито,— сказал Онуфрий Лукич с самодовольной улыбкой,— я вас узнал!..Ей, узнал — с первого раза... с одной вашей улыбочки... (с. 28).

В заключительной главе, действие которой происходит через полгода, показан новый приезд обоих чиновников. Блюдечко вернулся, чтобы отпраздновать свою свадьбу с Фесей, а уже женатый Ситечко — чтобы быть у друга шафером. Гоголевский сюжет о сватовстве псевдоревизора к дочери городничего нашел здесь счастливое завершение.

Судя по всему, Ковалевский передал те впечатления, которые отложились в памяти людей, имевших возможность присмотреться к Гоголю времен «Миргорода» и «Ревизора». Не исключено, что создатель «Уездной были» опирался на собственные воспоминания, но столь же вероятно, что он обыграл и какие-то старые толки о знаменитом писателе. Дело в том, что после первых представлений комедии ее автор надолго уехал за границу, оказавшись вне поля зрения своих любопытствующих соотечественников. Не располагали они пока что и его печатными портретами⁶ — приходилось довольствоваться стереотипом, к которому и подтягивался у Ковалевского образ самозванца. Правда, тогда, в пору «Ревизора», Гоголю было уже 27 лет, а не 22 года, как Федору Блюдечко, но в остальном они весьма схожи. Худой, бледный юноша в очках, выведенный у Ковалевского, вполне соответствует тому облику комедиографа, который зарисовал П.А.Каратыгин на генеральной репетиции «Ревизора» и который он прокомментировал в беседе с сыном. Гоголь запомнился ему как «невысокого роста блондин<...> в золотых очках на птичьем носу<...> Никто не догадывался, какой великий талант скрывался в этом слабом теле»⁷. Что касается пресловутого «птичьего носа» (который ассоциировался вдобавок и с самой фамилией Гоголя), то в повести он деликатно заменен упоминанием о сатирическом писателе как о «птице».

Даже лукавая «улыбочка» гостя и его способность удерживаться от смеха, столь впечатлившая Онуфрия Гниду и воспринятая им в качестве главного признака «гоголевщины», тоже в общем совпадает с тем, что известно

нам о специфической манере Гоголя-чтеца и юмористического рассказчика. С.Т. Аксаков даже считал ее отличительным свойством малороссийского юмора⁸.

К тому времени, когда Ковалевский живописал самозванного Гоголя, Гоголь подлинный был устремлен уже к новой, пафосно-дидактической стадии своего творчества, давшей «Мертвые души», «Театральный разъезд», «Развязку “Ревизора”» и эпистолярной публицистикой. Но каким бы наивным анахронизмом ни выглядела в таком контексте повесть Ковалевского, она все же могла оказать определенное воздействие на этого нового Гоголя, поскольку являла собой беспрецедентный опыт по внедрению его собственной личности в чужой литературный текст, запечатлевший устоявшийся взгляд на писателя. Автор «Ревизора», сам как бы ставший его персонажем, увидел себя со стороны, глазами своих читателей.

Вместе с тем, «уездная быль» еще никак не успела сказаться на втором отдельном издании пьесы, напечатанном в 1841. Работу над этой ее редакцией он закончил в Риме, в первой половине марта 1841 — т.е. как раз тогда, когда в далекой Москве только что вышел номер «Пантеона» с сочинением Ковалевского (ценз. разрешение от 26 февраля). В Россию Гоголь приехал лишь в начале октября. Иначе обстояло дело с последующей редакцией текста, опубликованной уже в 1842 в составе гоголевских Сочинений. Тут впервые появляются и выпады Городничего в адрес неведомого литератора — т.е. самого Гоголя, — и отчаяние по поводу того, что вся Россия узнает о его позоре:

«Мало того, что пойдешь в *посмешище* — найдется шелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит<...> и будут *все скалить зубы* и бить в ладоши». И там же: «Вот, смотрите, смотрите, *весь мир, все христианство, все смотрите*, как одурачен городничий!»

По-видимому, эта горестная тирада навеяна была именно повестью Ковалевского — точнее, причитаниями его судьбы, взбудораженного своей грядущей литературной участью:

А потом перекрестит тебя в какого-нибудь Тяпкина-Ляпкина, да и

предаст печати, *на потеху всего уезда... Да что? всей губернии!.. Да что? всей империи!* (с.23).

Опасения персонажей «Гоголя в Малороссии» касательно насмешливой наблюдательности комедиографа («Так вот и цепляется... так и придирается к каждому слову»; «такой *критикант*: всех описывает!») в том же 1842 г. отозвались и в реплике одного из действующих лиц «Театрального разезда» -- Дамы среднего света: «Но только какой злой насмешник должен быть этот автор! Я признаюсь, ни за что бы не хотела попасться к нему на глаза. Этак он вдруг заметит во мне смешное».

Напомню, что поздний Гоголь интерпретировал свое искусство как сложную систему направленных друг на друга зеркал, совместно корректирующих объект отражения. Суммарным его героем, как и суммарным читателем, становится в конечном итоге вся Россия. Отобразив в «Мертвых душах» различных ее представителей, собранных в «типы», автор содействует их нравственному исцелению, а в перспективе – духовному пробуждению всей империи. Для этого он сгущает либо негативные, либо позитивные их черты. Взирая на первые, читатель, по его замыслу, будет отторгаться от них с благородным негодованием, а любуясь вторыми – тянуться к добру, олицетворяемому соответствующим героем. Но чтобы сделать такие образы поистине убедительными, могущими заморозить читателя, автор должен добыть исходный материал из самой действительности, придав своим героям жизненную достоверность, узнаваемость. Это та именно способность, которую приписывает ему встревоженный судья: «Всякого скопирует... *выльет как живого*», -- и которую сам писатель через несколько лет объявит главным своим достоинством. Описывая свою творческую эволюцию в письме к Жуковскому, или т.н. «Авторской исповеди» (1847), Гоголь атрибутирует аналогичную оценку собственного дара сперва своим нежинским соученикам, а затем Пушкину, обнаружившему у него «способность угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг *всего, как живого*». Тогда-то, продолжает он, Пушкин и подарил ему сюжет «для большого сочинения» --

сюжет «Мертвых душ». Однако столь ответственное произведение потребовало от Гоголя досконального изучения «души всякого человека», как и собственной духовной перестройки. Чтобы убедительно представить «нынешнего русского человека», ему, живущему за рубежом, необходимы «все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете». Но стоит ли самому автору путешествовать для этого по России? Отвергая целесообразность таких вояжей, Гоголь рисует их гипотетические результаты, и в этой картине почти напрямую сходится с сюжетом Ковалевского, давая ему адекватную оценку:

Разъездами по государству немного возьмешь<...> Могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь только сюжет для комедии, имя которой бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно *для осмеяния всего, что ни есть в человеке, от головы до ног.* (VIII, с.452).

Это как раз то представление о «сатирическом писателе», который погрозней всякого ревизора, что ранее продемонстрировал Онуфрий Лукич. Гоголь здесь лишь повторяет его опасливые сентенции:

А этот *опишет тебя с головы до ног, подметит всю твою натуру:* все поговорки, все ухватки, ничего не оставит в покое, до всей подноготной докопается<...> да и предаст печати, *на потеху...* (с.23).

Но если разъезды заведомо бесполезны, то как же он, живущий вдали от России, сможет собрать необходимые ему сведения? За ними Гоголь обращается к своим читателям. Второе издание поэмы, выпущенное в 1846, он предваряет обращением, где просит их присылать ему свои поправки, возражения и уточнения -- а «*о слоге или красоте выражения здесь нечего беспокоиться*». Главное – чтоб они поподробнее делились с ним своим собственным опытом, иллюстрируя его по возможности подходящими житейскими историями, «не пропуская ни людей с их нравами, склонностями и привычками, ни бездушных вещей, их окружающих». Иначе говоря, читателю предлагалось стать соавтором книги. Пером Гоголя Россия должна была писать

– и переписывать заново – самое себя. Увы, просьба осталась безответной, о чем Гоголь укоризненно напоминает в «Выбранных местах...» -- в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», где сюжет поэмы осмыслился «как дело, взятое из души и душевная правда». Сама же эта его установка на доверительность, безыскусность и чистосердечие тоже, скорее всего, была подсказана персонажем Ковалевского. Когда жена спрашивает судью, зачем Гоголь, выдавая себя за собственного однофамильца, предпочитает действовать «инкогнито», Онуфрий Лукич разъясняет:

Ну, для того, чтоб я обращался с ним не как с писателем, а повольней, за *панибрата*, как с простым дворянином... Слово за словом, да и пересказал ему все, что лежит на душе, *не заботясь о том, чтобы выразиться прилично, по-книжному*, а так, знаешь, по вольности дворянства... (с.26).

Похоже, та стратегия расспросов, которую бдительный Гнида инкриминирует здесь своему гостю, для позднего Гоголя становится прямым руководством, но отнюдь не к сатире и юмористике, а к спасительному социальному действию. «Душевный город» из «Развязки “Ревизора”» на сей раз смыкается у него с городом земным, подлинным, подлежащим всесторонней ревизии со стороны самого писателя, словно воплотившего собой ту нравственную альтернативу, которой некогда так недоставало резонерам, критиковавшим его комедию. В одной из программных статей «Выбранных мест» «Что такое губернаторша» он навязывает А.О.Смирновой, своей приятельнице и жене калужского губернатора, методику задушевного выведывания истины — очень близкую к той, что приписывал ему Онуфрий Лукич Гнида. Губернаторша должна разузнать побольше сведений о грехах горожан, чтобы известить о них Гоголя; а уж тот, получив потребные сведения и составив себе представление о нравственном облике ее подопечных, найдет способ воскресить падшую Калугу. Так, следует порасспросить женщин. «Вы же имеете дар выпрашивать, — убеждает он Смирнову. — Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, кто что любит, что кому нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно». То же касается любых сословий, например,

мещан и купечества. «Мне нужно взять из среды их *живьем* кого-нибудь, чтобы я *видел его с ног до головы, во всех подробностях*», и всех «лучших в городе»: «Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как можно их подстрекнуть». В аналогичном ключе предписывает действовать Хлобуеву и Муразов во втором томе «Мертвых душ».

Сетуя в первом из «Четырех писем...» по поводу отсутствия продуктивных откликов на свою поэму, Гоголь заявил: «У писателя только и есть один учитель — сами читатели. А читатели отказались поучить меня». Как мы уже убедились, его упреки были не совсем справедливы. Ибо, вознамерившись стать учителем жизни, Гоголь сам многому научился у своих простодушных поклонников, которых изобразил Ковалевский. Мнимый Гоголь сумел все же пригодиться Гоголю настоящему.

¹ Ч.1, №1. С.16-29. Далее все ссылки на издание — в самом тексте с указанием страницы в скобках. Сохранен курсив подлинника; жирный шрифт мой — **М.В.** Кто такой Н.Ковалевский, я не знаю. В справочных изданиях, релевантных для описываемого периода, писателя с этим именем нет. Отсутствует и такой псевдоним.

² Ср. у Гоголя: «О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил...»

³ Ср. известное свидетельство Ивана Аксакова, о котором его отец поведал Гоголю в письме от 27 августа 1849 г. : «В Рыбинске играли Ревизора; в половине пьесы актеры, видя, что зрители больше их похожи на действующие лица, помирали все со смеха». — Переписка Н.В.Гоголя: В 2 т. Т.2. М.1988, С.108. В некоторых провинциальных театрах власти даже запрещали постановку.Подробнее об этом, со ссылкой на Л.И.Арнольди, см. в Комментарии Ю.В.Манна : *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. Т. 4. М. 2003. С.753.

⁴ Северная пчела, 1836, № 98.

⁵ Характерно, что самой первой инсценировкой гоголевских произведений был водевиль «Вечера на хуторе близ Диканьки» — «малороссийская интермедия» на темы «Ночи перед Рождеством», поставленная в петербургском Большом театре в начале 1833 г. См.: *Данилов С.С.* Указ. соч. С. 117-121.

⁶ Ср.: «Известно, с какой неприязнью относился Гоголь к широкой публикации своих изображений, преграждая по мере сил всякие их попытки». —

Машковцев Н.Г. Гоголь в кругу художников. Очерки. М. 1955. С.30.

⁷ Исторический вестник, 1883.Сентябрь. С.735.

⁸ См. : *Аксаков С.Т.* История моего знакомства с Гоголем. М. 1960. С. 13.